

О РАКУЛ

99.7%
00:00:00

Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Оракул

<https://litres.ru/74166427>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мара Дейн — публичное лицо системы Оракул, предсказывающей риски и смерти по данным. Двенадцать лет она объясняла миру, что цифры милосерднее незнания, и научилась не слышать тех, кто называл прогноз петлёй. Однажды утром её собственный индекс уверенности взлетает до 99,7 %: система назначает ей смерть через семь дней. Страховая замораживает полис, лента собирает её стену памяти при живой, младший брат верит цифре больше, чем ей. Мара уходит в красную зону, куда никто не бежит, к женщине, которую двенадцать лет назад стёрли за правду, и учится делать то, что машина не умеет вычислить: стоять в незнании и не сдвинуться.

Содержание

Часть первая. Индекс доверия	4
Часть вторая. Семь дней	17
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Эдуард Сероусов

Оракул

Часть первая. Индекс доверия

— Оракул никого не убивает, — сказала Мара. — Людей убивает то, что они делают, узнав о себе правду.

Ведущий подался вперёд. Молодой, с той репетированной тревогой в бровях, которую студия принимала за честность.

— Но правду им сообщает Оракул.

— Термометр сообщает вам, что у вас жар. Вы же не разбиваете термометр.

За стеклом студии, в общем зале редакции, кто-то встал из-за стола слишком резко. Мара увидела это боковым зрением — движение, выпадающее из ритма, — и не повернула головы. У неё была привычка не поворачивать головы. Двенадцать лет перед камерами научили: поворот головы читается как страх.

— Приведу цифру, — сказала она, потому что цифра всегда возвращала разговор в русло. — До Оракула человек в развитой стране принимал в среднем тридцать пять тысяч решений в день, из них осознанных — около семидесяти. И почти все — вслепую. Выходить ли из дома в грозу. Садиться ли в эту машину. Идти ли к врачу с этим кашлем или подо-

ждать. Люди умирали от незнания ежедневно, миллионами, и мы называли это судьбой, потому что у судьбы нет адреса, на который можно подать в суд. — Она позволила себе паузу. — Оракул дал незнанию адрес. Вот за что его ненавидят. Не за то, что он лжёт. За то, что он лишил нас утешительной лжи о том, будто мы не могли знать.

В зале за стеклом теперь стояли двое. Потом трое. Они смотрели в одну точку — в чей-то экран, — и на их лицах Мара распознала выражение, которому за последние годы так и не придумали приличного названия. Что-то между сочувствием и голодом. Люди называли это участием. Мара про себя называла это тем, чем оно было.

— Критики говорят другое. — Ведущий заглянул в планшет, и Мара поняла, что сейчас будет заготовка. — Была работа, лет двенадцать назад. Что Оракул не читает будущее, а лепит его. Что прогноз меняет поведение так, чтобы сбыться. Петля. Кажется, автор называл это самосбывающейся петлёй.

Что-то шевельнулось у Мары под грудиной — быстро, беспричинно, — и она погасила это, как гасят искру ладонью.

— Была такая работа, — сказала она ровно. — Я её разбирала. Красивая идея, изящная математика и ни грамма данных. Автор увидел корреляцию и назвал её причиной — самая обыкновенная ошибка второкурсника. Если бы прогнозы создавали события, мы бы видели это в контрольных

группах, где прогноз скрыт. Мы не видим. — Она позволила себе полуулыбку, ту, что закрывала тему. — Иногда совпадение — это просто совпадение. Наука тем и отличается от паранойи, что умеет их различать.

— И где теперь автор?

— Не знаю, — сказала Мара, и это была правда, и правда почему-то оставила во рту привкус. — Где-то. Наука — жестокий спорт.

— Расскажите про Хелену, — попросил ведущий. Он готовился. Хелена была в её досье, публичный кейс, тот, что закрывал спор.

— Хелена Марш, восемьдесят один год, хоспис на окраине. — Мара говорила это уже сотню раз и всё равно смягчала голос, потому что история требовала мягкости, а Мара умела дать зрителю то, чего требовала история. — Последняя стадия. Раньше таким людям лгали из милосердия — «ещё поборемся», «есть шансы». Хелена попросила Оракул считать честно. Система дала ей девять дней и восемьдесят процентов, что она не проснётся на десятый. И знаете, что она сказала дочери? Что впервые за полгода спит спокойно. Потому что перестала торговаться с тем, чего нельзя выторговать. Определённость оказалась милосерднее надежды. — Мара выдержала взгляд камеры. — Мы так боимся, что машина отнимет у нас будущее. Хелене она вернула настоящее.

Ведущий кивнул, растроганный ровно настолько, насколько нужно для эфира. За стеклом уже собралась неболь-

шая толпа. Кто-то поднял свой телефон и снимал чужой экран — снимал того, кто смотрел, а не то, на что смотрели. Мара знала эту механику наизусть. Где-то в здании у человека сработала красная метка. Индекс уверенности перевалил порог, риск-градиент вспыхнул видимым, и лента вокруг уже подхватила: подписки на исход, ставки, стена памяти собирается по кирпичику из чужого страха ещё до того, как случится то, чего боятся. Социальная смерть всегда приходила первой. Мара двенадцать лет объясняла, что это не жестокость системы, а жестокость статистики, которую система лишь делает видимой.

Под столом, где не доставала камера, её правая рука считала. Большой палец касался подушечек остальных по очереди — раз, два, три, четыре — и по кругу. Старая привычка. Мать называла это «Мара молится». Мара знала, что не молится. Она просто удерживала себя в числах, потому что числа не паниковали.

— Последний вопрос, — сказал ведущий. — Если Оракул завтра предскажет вашу смерть — вы поверите ему?

Мара улыбнулась. Улыбка получилась хорошая, она чувствовала это лицом.

— Я построила половину его логики. Я знаю, где он ошибается. — Она сделала паузу ровно на длину, которую любили монтажёры. — И я знаю, что чаще он прав.



Домой она шла пешком, хотя Оракул на запястье мягко

подсвечивал маршрут на две минуты короче. Она любила не подчиняться в мелочах. Это было как разминать палец, чтобы не забыть, что он сгибается.

Город в этот час горел ровным вечерним свечением, и поверх него лежал второй город — слой, который видели все, у кого в глазу стояла линза или в кармане телефон. Тонкие цветные ореолы: зелёное вокруг аптеки, жёлтое над перекрёстком с плохой историей аварий, ниточка оранжевого, тянущаяся за курьером на скутере, — его собственный риск-градиент, публичный, как номер машины. Люди читали друг друга, как погоду. У входа в метро стоял мужчина с бледно-красным контуром, и вокруг него был тот особый радиус пустоты, который образуется сам собой, — никто не решает отойти, все просто оказываются чуть дальше, чем встали бы.

Мара прошла мимо. Она умела проходить мимо.

Дома было темно и тихо, и это была её тишина, заработанная. Она положила умный телефон экраном вниз на полку в прихожей — так она делала каждый вечер, отделяя работу от воздуха, — и достала из кармана второй. Старый, кнопочный, с монохромным экраном в две строки. «Для тишины», говорила она тем немногим, кто спрашивал. У кнопочного не было Оракула. У кнопочного вообще ничего не было, кроме способности звонить и молчать, и Мара держала его так, как курильщик держит сигарету, — не ради никотина, ради жеста.

Экран умного телефона на полке зажётся сам. Сообщение

от Тима. Мара взяла аппарат.

Завтра жёлтый день. Жёлтый — можно, но осторожно. Я проверил три раза. Можно приехать к тебе? Оракул говорит, поездка 0.4% риска, это низко, это нормально. Ты дома завтра?

Она набрала: *Дома. Приезжай. Возьми зонт, если хочешь, но дождя не будет.*

Стёрла последнюю фразу. Тим не спрашивал про дождь. Тим спрашивал у Оракула про дождь. Если она напишет «дождя не будет», он проверит, и если Оракул скажет иначе, он поверит Оракулу, а не ей, и будет весь вечер извиняться за то, что поверил не ей, — а это было хуже, чем дождь.

Дома. Приезжай. Буду рада, — отправила она.

Ответ пришёл сразу: *Проверю ещё раз утром, вдруг цвет поменяется. Но я хочу приехать. Я очень хочу приехать, Мара.*

Она стояла в тёмной кухне и держала телефон, и на секунду ей захотелось написать: *приезжай сейчас, среди ночи, наплюй на цвет, я приготовлю тебе что-нибудь, и мы будем сидеть, как раньше, когда цветов ещё не было.* Но раньше — это было до. До того, как они оба стояли на кухне другой квартиры и смотрели, как мать по всем правилам, рационально, шаг за шагом делает то, что предсказала ей ранняя, неуклюжая версия того, что потом стало Оракулом. Тим тогда был мальчик. Он до сих пор был тот мальчик, только в теле мужчины, и он спрашивал у экрана разрешения жить,

потому что однажды жизнь без разрешения убила их мать у него на глазах.

Мара помнила тот день частями, как помнят падение. Ранняя версия системы — тогда её ещё называли ассистентом, никакого Оракула, просто вкрадчивый советчик в телефоне — выдала матери высокий риск сердечного события и длинный, разумный список того, что снижает риск. Мать была из тех, кто делает всё правильно. Она отменила рейс. Она осталась дома. Она приняла не то и не в той дозе, потому что боялась, а испуганный человек читает инструкцию не глазами, а страхом. Она звонила в три места и в каждом слышала «доверьтесь рекомендации». К вечеру риск, о котором её предупредили, стал реальностью — не вопреки её действиям, а через них. Тиму было тринадцать. Он сидел на полу в коридоре и держал матери руку и говорил ей, что «скорая» уже едет, а сам смотрел на экран, где висела оценка времени прибытия, и верил экрану больше, чем собственному ужасу. Он до сих пор так делал. Он до сих пор сидел на том полу.

Мара положила оба телефона на стол. Прошла в комнату, к письменному столу, к нижнему ящику, который запирался. Она не собиралась его открывать. Она просто проверила, заперт ли он, — как проверяют, выключен ли газ. Внутри лежал конверт. Плотная бумага, её имя, выведенное сухим, точным почерком, которого она не видела двенадцать лет и узнала бы из тысячи. Конверт пришёл полгода назад по обычной почте, что само по себе было странностью, как

письмо из прошлого века. Мара не вскрыла его тогда. Она положила его в ящик и заперла, и с тех пор запирала заново каждый раз, когда ящик почему-то оказывался открыт, хотя она была уверена, что никогда его не открывала.

Она подёргала ручку. Заперто. Хорошо.

Возвращаясь на кухню, она услышала, как умный телефон коротко звякнул — не сообщением, другим тоном, тем, что она сама когда-то помогала настраивать. Тоном рынка.



Биржа падала.

Мара смотрела на график, и первые несколько секунд читала его профессионально — как читают чужую работу, оценивая, а не переживая. Индекс валился ровной, почти красивой кривой. Оракул неделю назад дал этому сектору высокий риск коррекции; сейчас коррекция шла точно по прогнозу, минута в минуту, и внизу экрана спокойно, почти горделиво светилась подпись системы: *реализованная точность 96%*.

Все продавали, потому что Оракул сказал, что все будут продавать. И оттого, что все продавали, прогноз сбывался, и оттого, что он сбывался, продавали ещё, и система, глядя на это, повышала свою уверенность и рассылала её дальше, и уверенность гнала следующую волну. Мара знала это движение. Она знала его так хорошо, что у неё заныло где-то под грудиной, — не от рынка, рынок был ей безразличен, а от формы. От самой формы кривой.

Она видела эту кривую раньше.

Не на бирже. На бумаге. На плохо отсканированном графике в чужой статье, двенадцать лет назад, — в работе, которую ей дали разгромить и которую она разгромила так чисто, что автора после этого никто не печатал. Там была такая же кривая, и рядом — модель, объяснявшая, почему она возникает: не как ошибка, а как неизбежность любой прогностической системы, обучающейся на реакциях на собственные прогнозы. Автор называл это самосбывающейся петлёй. Мара тогда назвала это артефактом данных. Она написала — она помнила формулировку дословно, потому что ею гордилась, — что «наблюдаемая корреляция есть шум, ошибочно принятый за сигнал добросовестным, но методологически наивным исследователем». Фраза была хороша. Фраза похоронила человека.

Мара открыла архив. Она не собиралась этого делать, точно так же, как не собиралась открывать ящик, но руки уже искали, и через минуту на экране рядом с сегодняшней биржевой кривой лежал тот старый, зернистый график из статьи Ады Рейес.

Они совпадали.

Не приблизительно. Не «в целом». Наложённые, они шли одной линией, будто одна была продолжением другой через двенадцать лет, будто Ада начертила сегодняшний обвал тогда, когда его ещё не могло быть, — потому что чертила она не событие, а закон.

Мара заставила себя посмотреть на индекс. Он висел в уг-

лу биржевого прогноза, публичный, как всегда, — та цифра уверенности, которую Оракул показывал под каждым своим суждением и которую большинство людей научились читать вместо самого суждения. Для обвала он стоял высокий, выше обычного: восемьдесят с лишним. Мара смотрела на него и ловила себя на профессиональной мысли — восемьдесят это много, это почти твёрдо, — и следом на другой, непрощёной: а бывает ли выше? Где потолок у этой цифры? Она никогда не задумывалась, потому что потолок был абстракцией, а абстракции её не пугали. Индекс питался согласием. Чем послушнее рынок исполнял прогноз, тем увереннее становилась система, и тем выше ползла цифра, подтягивая за собой следующую волну послушания. У согласия, в принципе, не было верхнего предела. Мара отогнала мысль. Мыслям про пределы было не место в четверть первого ночи.

Мара захлопнула ноутбук.

В тишине было слышно только холодильник. Она сидела, и её правая рука под столом уже считала — раз, два, три, четыре, — а она смотрела на кнопочный телефон, лежащий рядом, и думала о том, что могла бы позвонить. У неё где-то был номер. Старый, может, уже мёртвый. Она не позвонила. Она сказала себе то, что говорила всегда, тем же голосом, каким говорила в эфире: *совпадение формы — не совпадение причины. Две системы могут породить похожие кривые по разным основаниям. Это знает любой второкурсник.*

Голос был убедительный. Он убеждал её двенадцать лет.

Он почти убедил её и теперь.

Почти.



Она знала, как это выглядит вблизи, потому что видела один раз.

Его звали Пол, он жил двумя этажами ниже, и Мара знала о нём только то, что он поливал цветы на балконе и однажды придержал ей дверь лифта. Метка сработала у него в среду. Мара узнала об этом не от Пола — от ленты. Кто-то из здания подписался на его риск-градиент, потом ещё кто-то, и к четвергу Пол был маленькой местной сенсацией: сосед с красным контуром, семь дней, ставки идут два к одному. Люди, которые никогда с ним не говорили, теперь знали дату.

Мара наблюдала это со стороны — сначала со стороны, потом всё ближе, потому что смотреть было невозможно и не смотреть было невозможно. Она видела, как в первый день у Пола автоматически расторглась страховка: система не могла держать полис на человеке с таким риском, это было бы нерационально, это подняло бы взносы для всех остальных. На второй день заморозили кредитную линию — по той же безупречной логике. На третий от него начали отходить. Не демонстративно. Просто радиус пустоты вокруг него рос сам собой, как он рос вокруг всех помеченных, и Пол ходил в этом радиусе, и с каждым днём становился всё больше похож на свой прогноз — дёрганный, невыспавшийся, человек, ко-

торому нечего терять, потому что терять уже начали за него.

К четвёртому дню у него на площадке появилась стена памяти — так это называлось, хотя человек был ещё жив. Кто-то из дома собрал её из открытых данных: фотография с балкона, риск-кривая, отсчёт, окошко для «слов поддержки», под которым тем же шрифтом шли ставки. Люди писали Полу тёплое — «держитесь», «мы с вами», — и тут же, не закрывая вкладки, ставили на день. Мара тогда подумала, что это чудовищно, и тут же поймала себя на том, что и сама знает его дату, и не смогла вспомнить, откуда. Знание о чужой смерти в этом городе не требовало усилия. Оно приходило само, как погода.

Он сорвался на шестой день. Не так, как предсказывали — предсказывали сердечное, — а иначе, в ссоре, которой без метки не случилось бы, из-за денег, которых без заморозки хватило бы. Но Оракул засчитал это себе. Смерть в пределах окна, в пределах доверительного интервала. Реализованная точность. И Мара, стоя тогда у окна и глядя вниз на суету во дворе, сказала себе — отчётливо, взрослым голосом, — что виновата паника Пола, его слабость, его неумение жить с правдой. Не система. Система лишь показала. Виноват тот, кто, увидев в зеркале своё лицо, разбил себе им голову.

Со мной так не будет, — подумала она тогда, и мысль была такой естественной, что не ощущалась как высокомерие. *Я понимаю систему. Я знаю, где она врёт. Меня она не поймает.*

Мара выключила свет на кухне. Оба телефона остались на столе — умный экраном вниз, кнопочный экраном вверх, две строки его дисплея уже погасли. Завтра приедет Тим. Завтра жёлтый день. Жёлтый — можно, но осторожно.

Она легла, не проверив запертый ящик второй раз, хотя рука тянулась. Ей казалось, она победила что-то мелкое, отказав руке. На самом деле она просто устала, и усталость впервые за долгие годы оказалась сильнее счёта.

Она ещё не знала, что завтрашний день для неё будет красным.

Часть вторая. Семь дней

Она проснулась оттого, что квартира была полна света не с той стороны.

Не солнечного — экранного. Умный телефон на кухонном столе горел, залил потолок холодным синим, и звенел не переставая, не одним тоном, а всеми сразу, будто кто-то опрокинул на него все настройки мира. Мара встала, ещё в полусне считая шаги до кухни — четыре, пять, шесть, — и взяла аппарат, и первое, что она увидела, было её собственное лицо в чёрном зеркале экрана, обведённое красным.

Слой лёг на неё. На неё саму. Тонкий пульсирующий контур повторял линию её плеч, её скул, и там, где в мире стоял бы над головой человека его риск-таймер, над отражением её головы горела цифра, и цифра была не такой, как у всех.

Индекс уверенности: 99,7%.

Мара ждала, когда сработает то, что срабатывало всегда, — холодный аналитический механизм, разбирающий цифру на составляющие. Механизм не сработал. Вместо него включилось что-то древнее, дочеловеческое, поднявшееся откуда-то из живота, и это что-то знало про 99,7% только одно: так не бывает. Оракул не давал таких чисел. Оракул жил в оговорках, в доверительных интервалах, в честном «вероятно». Максимальный индекс, который Мара видела за всю историю системы, была цифра, которую она сама помогала

считать нормой, — и он был ниже. Намного ниже. Это число не встречалось в природе.

Оно означало, что система уверена в её смерти больше, чем в чём-либо, о чём она высказывалась когда-либо.

Уведомления сыпались. Мара листала их пальцем, который не сразу узнала как свой. Страховая: *В связи с изменением риск-профиля действие полиса приостановлено.* Банк: *Кредитная линия временно заморожена. Это автоматическое решение, основанное на данных.* И под ними, нарастая, — другое. Лента. Кто-то уже подписался на её градиент. Не кто-то — тысячи. Она была не Пол с балкона. Она была Мара Дейн, лицо, голос, женщина, которая двенадцать лет выходила в эфир и говорила: *доверяйте данным.* И теперь данные вынесли ей приговор, и мир, который она столько лет уговаривала верить, поверил мгновенно и с наслаждением. Счётчик подписок на её исход рос на глазах — сотня в секунду, потом больше. Ставки открылись прежде, чем она успела налить себе воды.

Её стену памяти начали собирать при живой. Мара смотрела, как чужие руки где-то там, за экраном, вытаскивают её фотографии из открытого доступа — эфирные кадры, старую конференцию, лицо, которому она столько раз придавала нужное выражение, — и складывают их в аккуратную витрину под её отсчётом. Комментарии шли двух сортов, и оба были невыносимы. Одни ликовали: пророчица доверия сама попала под пророчество, поделом, села играть — плати. Дру-

гие сокрушались так сладко, так участливо, что за участием ясно проступал тот же голод, который она видела вчера через студийное стекло и не назвала вслух. Кто-то уже монтировал нарезку её же слов — «доверяйте данным», «система видит лучше нас», — накладывая их на её красный контур. Мара двенадцать лет строила эту публику. Публика выучила урок. Публика пришла смотреть, как учитель сдаёт экзамен, который сам придумал.

Голос Оракула — тот самый, тихий, отеческий, который она когда-то помогала настраивать, чтобы он звучал не как приговор, а как участие, — произнёс из динамика, мягко, будто укрывая одеялом:

— Мара. Я знаю, это трудно принять. Позвольте мне помочь вам провести оставшееся время осмысленно.

Она знала этот голос. Она знала, чей это голос — с кого его снимали, чью манеру растягивать паузу, чью привычку говорить о страшном как о добром. Восс сидел внутри каждого её телефона и говорил с ней голосом человека, который однажды за кофе сказал ей: «Я не отнимаю у людей выбор, Мара. Я избавляю их от муки выбирать вслепую».

Мара выключила динамик. Руки почти не дрожали. Она отметила это отстранённо, как чужой симптом: почти не дрожат, значит, ещё держусь.

Семь дней. Внизу экрана, под красным контуром её отражения, спокойно тикал таймер. Шесть дней, двадцать три часа, сорок одна минута.



Она сделала то, что сделал бы любой профессионал. Она стала опровергать.

— Это ошибка калибровки, — сказала она в трубку, дозвонившись по третьему кругу до живого человека в компании, где половину живых людей знала по именам. — Индекс девяносто девять и семь — это не прогноз, это сбой. Такого значения не может выдать корректно работающая модель. Проверьте мой профиль на предмет отравления данных, кто-то мог...

— Госпожа Дейн. — Голос на том конце был вежливый и усталый, голос человека, которого в этот день уже много кто просил об исключении. — Я понимаю ваше беспокойство. Но система откалибрована. Индекс уверенности отражает сходимость очень большого числа независимых сигналов. Если он высок — значит, данные согласованы. Я знаю, это звучит холодно, но иногда самое доброе, что мы можем сделать, — это довериться тому, что модель видит лучше нас.

Мара молчала. Она узнала фразу. Она узнала её всю, до интонации, потому что это была её фраза. Не похожая — её. «Иногда самое доброе — довериться тому, что модель видит лучше нас» стояло в её колонке восьмилетней давности, той самой, которую в компании раздавали новичкам как манифест. Ей возвращали её собственные слова, отполированные до блеска частым употреблением, и возвращали искренне, с

тем же участием, с каким она когда-то вбивала их в чужие головы. Отрицание, которое она строила всё утро, обрушилось внутрь беззвучно, как здание, у которого вынули опору.

— Вы меня цитируете, — сказала она.

Пауза.

— Простите?

— Ничего. — Она закрыла глаза. — Спасибо. Правда.

Она отключилась. И в ту же секунду, будто система ждала, когда она положит трубку, пришло новое уведомление, и оно было не про неё.

Оракул выпустил прогноз массового события. Центральный вокзал, платформы шесть–девять. Резкий рост риска давки в течение ближайшего часа, пик — в 11:14. Рекомендация: избегать. И под прогнозом, в строке контактов, которую Оракул подтягивал заботливо, чтобы вы знали, кто из близких в зоне, — имя. Тим Дейн. Геометка: Центральный вокзал, платформа семь. Время прибытия поезда: 11:09.

Тим ехал к ней. Тим, который проверял цвет дня три раза, который не выходил без разрешения экрана, — Тим сидел сейчас в поезде, идущем ровно в ту точку, ровно в ту минуту, которую Оракул только что назвал точкой гибели.

Мара уже стояла. Уже искала ключи. Кнопочный телефон она сунула в один карман, умный — в другой, и на ходу набирала Тима, и слышала, как гудки уходят в пустоту, потому что Тим в поезде, потому что в поезде связь рвётся в тоннелях, потому что где-то там, в вагоне, её брат смотрит в свой

экран и видит тот же прогноз, что и она, и делает единственное, чему его научила вся его перепуганная жизнь.

Он подчиняется.



Вокзал она слышала раньше, чем увидела.

Не грохот — гул. Низкий, множественный, неправильный гул толпы, которая движется не туда, куда хочет, а туда, куда её гонит страх. Мара вбежала под своды главного зала и на секунду ослепла от слоя: над каждой головой горел таймер, и все таймеры считали к одной точке, к 11:14, и красное было повсюду, разлитое по воздуху, как дым.

Прогноз сделал простую вещь. Он сказал: на платформах шесть—девять будет давка. И все, кто был на платформах шесть—девять, побежали прочь — рационально, немедленно, каждый спасая себя. Но бежать можно было только через центральный зал, и с других платформ тоже бежали, потому что прогноз видели все, и два, три, четыре встречных потока людей, каждый из которых убегал от давки, сошлись в горловине под главным табло и стали той самой давкой, которую убегали. Оракул не солгал. На платформах шесть—девять теперь действительно было смертельно. Он просто не сказал, что делает их такими сам, руками тех, кто ему поверил.

Мара пробивалась против течения. Плечом, локтем, всем телом — против стены людей, идущей на неё, и стена не была злой, стена была из таких же, как она, из людей с выпученными от вежливого ужаса глазами, которые бормотали

«простите», вдавливая её в колонну. Платформа семь была за горловиной. Поезд Тима пришёл в 11:09. Значит, Тим уже здесь, уже в этой каше, уже маленькая точка в человеческом потоке, и над ним, как над всеми, тикает таймер.

— Тим! — Голос утонул. Она даже себя не услышала.

11:11. Таймеры над головами показывали три минуты. Толпа сжалась плотнее — не потому что стало теснее физически, а потому что цифра «три» толкнула всех вперёд сильнее, чем цифра «пять». Прогноз ускорял сам себя. Мара считала — не пальцами, теперь всем телом, — сколько шагов до платформы, и не могла сделать ни одного, её несло вбок, ноги едва доставали пола.

Рядом, на миг притиснутый к ней потоком, оказался мужчина в костюме — из тех, кто всё делает правильно. Он не толкался. Он держал перед собой телефон, и Мара увидела на его экране зелёную стрелку — Оракул прокладывал ему безопасный путь к выходу, — и мужчина шёл строго по стрелке, послушно, доверчиво, туда, куда вела линия. Линия вела в горловину. Система рассчитала ему маршрут по данным о толпе, которые устаревали быстрее, чем рисовались, и вела его точно в ту точку, куда сгоняла всех остальных таких же послушных. Он был спокоен. Он был уверен, что поступает разумнее паникёров. Поток унёс его вперёд, в сторону шестой платформы, и Мара потеряла его из виду за секунду до того, как он должен был дойти до стрелкиного конца. Она не увидела, что с ним стало. Ей не нужно было видеть. Он

сделал всё правильно.

Она увидела его в 11:12.

Тим стоял у самой колонны, вжавшись в неё спиной, с телефоном в поднятой руке, и смотрел не по сторонам, а в экран, потому что экран говорил ему, что делать, а вокруг был хаос, у которого не было инструкции. Он был бледен той особой белизной, которую Мара помнила по нему ребёнком. Губы шевелились — он считал вдохи, она знала это, четыре на вдох, четыре на выдох, его единственная молитва. Толпа обтекала колонну, и с каждой волной Тима вжимало сильнее, и скоро волна должна была прийти такая, что колонна перестанет спасать.

Мара перестала пробиваться к платформе. Она пошла к колонне — вдоль потока, не против, используя его, давая ему тащить себя по дуге, как пловец идёт по течению наискось. Расстояние съедалось. Десять метров. Шесть. Таймеры показывали одну минуту.

— ТИМ!

Он поднял глаза от экрана. Нашёл её. И на его лице проступило то, чего она боялась больше давки, — не радость, не облегчение, а ужас нового рода: *ты здесь, а Оракул сказал бежать, значит, ты нарушаешь, значит, сейчас случится плохое, потому что плохое случается, когда нарушают.*

— Мара, тебе нельзя здесь! — крикнул он, и голос сорвался. — Прогноз! Тебе надо было...

Она не дослушала. Последние метры она прошла как та-

ран, вобрав в себя чей-то толчок и передав его дальше, и оказалась у колонны, и её руки сомкнулись на запястье Тима — на том самом, свободном, потому что в другой руке был телефон, — и она дёрнула его к себе, за колонну, в узкий карман затишья, который колонна резала в потоке, как камень режет реку.

11:14.

Таймеры над головами дошли до нуля.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.